А. ПРОБАПЕРОВ

ВЗГЛЯД



А Пробаперов

Взгляд

«Автор»
2026

Пробаперов А.

Взгляд / А. Пробаперов — «Автор», 2026

Николай — историк. После внезапной смерти своей студентки теряет всё: работу, веру в себя и надежду спасти больную мать. В отчаянии он покупает билет во «Взгляд» — высокотехнологичную ИИ-игру, где можно прожить историю заново. Ту самую, которую исследовала погибшая студентка в своей работе. Он выбирает Куропаткина, генерала, который проиграл Русско-японскую войну. Николай знает все ошибки и хочет их исправить. Ему удается многое и он привлекает к себе внимание сильных мира сего. А вскоре обнаруживается, что "Взгляд" это не просто игра, а международная платформа по выявлению талантов, призванных спасти мир от новых глобальных угроз.«Взгляд» — это история о том, что прошлое нельзя переиграть, но можно перестать быть его заложником и научиться видеть, слышать себя и других, находить компромиссы, быть человеком.

© Пробаперов А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. «Встреча» 5
Глава 2. «Записка» 6
Глава 3. «Взгляд» 7
Глава 4. «Поручик» 9
Глава 5. «Сжатие» 11
Глава 6. «Федюнин» 12
Глава 7. «Вмятина» 13
Глава 8. «Аренда» 14
Конец ознакомительного фрагмента. 15

Взгляд

Глава 1. «Встреча»

Жест был невольный, едва уловимый — правая рука оппонента поднялась к уху, коснулась того места, где у человека обычно ничего нет, и опустилась. За столом, где решалась судьба региона, этого не заметил никто. Кроме Верещагина.

Он узнал этот жест — и понял: переговоры спасены.

Он знал это движение. Он сам делал так три года назад, когда играл, и потом ещё долго не мог отвыкнуть: рука тянулась к уху, даже когда шлема не было.

Оппонент, тот, что сидел вторым слева, слушал своего коллегу и кивал. В его лице не было ничего, что выдавало бы в нём участника, — ни усталости, ни той особенной внимательности, с какой люди, побывавшие там, смотрят на обычную жизнь. Но жест был. Жест был, и Верещагин его узнал.

И тогда он улыбнулся. Не вслух, не нарочно — просто внутри что-то отпустило. Надежда, что стороны наконец договорятся, появилась не потому, что он верил в дипломатию, а потому, что за столом напротив сидел человек, который видел то же, что видел он. А если человек видел то же, с ним можно было говорить.

Три года назад он сидел на такой же встрече. Она провалилась.

Через месяц умер человек, с которым он тогда не договорился. Верещагин до сих пор не знал, мог ли он это предотвратить. Может быть, мог. Может быть, нет. Но он помнил лицо того человека, когда тот выходил из зала, — и помнил, что ничего не сказал.

И вот теперь — снова.

Он подождал, пока оппонент закончит слушать, и наклонился к советнику.

— Спросите у них про землю, — сказал он тихо. — Не про статус. Про землю.

Советник посмотрел на него с сомнением.

— Но регламент…

— Регламент — это бумага, — сказал Верещагин. — А земля — это земля.

Он выпрямился и посмотрел на оппонента. Тот ещё не знал, что его увидели. Но Верещагин уже знал, что скажет ему после заседания — одну фразу, которую поймёт только тот, кто сам когда-то тянулся к правому уху.

А пока он просто сидел и ждал, когда начнётся.

Глава 2. «Записка»

Записка лежала на краю кафедрального стола третьи сутки, и Николай Андреевич Верещагин всё это время делал вид, что не замечает её.

Это было нетрудно. Кафедра истории нового времени помещалась в старом корпусе с высокими окнами и полами, которые отзывались на каждый шаг, а стол был завален так, что бумага на краю растворялась в бумаге посередине. Тут лежали распечатки чужих дипломов с пометками на полях, тут же — счета за междугородние звонки в архив, которые он всё не мог заставить себя оплатить, стопка ксерокопий с японского генерального штаба, пожелтевших от времени ещё до того, как он их заказал.

Записка была белой. Это её и выдавало.

В среду он наконец взял её в руки. Почерк был мелкий, круглый, с наклоном вправо и с той старательностью, которая выдаёт человека, боящегося, что его сочтут несерьёзным. Внизу стояла подпись: «А. Ветрова, 3 курс».

Он прочёл дважды. Первый раз — не понимая. Второй — понимая слишком хорошо.

«Николай Андреевич, простите, что пишу, а не говорю. Я боюсь, что вы меня перебьёте, а вы бы перебили, потому что вам покажется, что это глупость. Я нашла программу, которая называется „Взгляд”. Там можно выбрать событие из истории и пройти его самому. Не прочитать, не написать статью — пройти. Я выбрала тысяча девятьсот четвёртый год, потому что Вы про него читаете лекции и у Вас тогда меняется голос. Я, кажется, увидела в Куропаткине то, чего не видит никто, и мне не хочется уносить это с собой. Мне не хочется умирать, я не сумасшедшая. Но я думаю, что Вы единственный человек на кафедре, который поймёт, зачем это нужно, и что я не просто трачу время. Если я ошибаюсь — скажите, и я больше не приду».

Верещагин положил лист на стол и разгладил его ладонью, хотя он был ровный.

За окном кто-то во дворе гонял мяч, и удары отдавались в стекле. Третьекурсница Ветрова приходила к нему в прошлом семестре с курсовой о Куропаткине, о том самом Куропаткине, о котором в учебниках две строчки, а в архивах — полторы папки. Она тогда сидела напротив, пила чай, который он ей налил из вежливости, и говорила так, как говорят люди, впервые обнаружившие, что история состоит из живых людей, а не из дат.

Он сказал ей тогда: «Вы пишете лучше, чем понимаете. Это не комплимент». Она не обиделась.

В четверг он не пришёл на кафедру. В пятницу пришёл и сказал секретарше, что заболел, хотя был здоров. В субботу он сидел дома и в третий раз перечитывал записку, и к вечеру поймал себя на том, что знает её наизусть. Фраза про Куропаткина задевала сильнее прочего: он сам три года ходил вокруг этой фигуры и всякий раз отступал, потому что источников было мало, а догадок много, и он не позволял себе догадок.

В воскресенье он открыл программу.

Глава 3. «Взгляд»

«Взгляд» появился в России тихо, без афиш и без министерских речей, и к концу второго года о нём говорили уже всюду — в поликлинике, в электричке, на кафедрах, где доценты спорили о нём злее, чем о реформе Академии наук.

Это была платформа. Слово неудобное, казённое, но другого не нашлось: то, что открывалось на экране, было слишком велико, чтобы зваться игрой, и слишком обыкновенно, чтобы зваться чудом. Всем в ней распоряжалась машина. Не та, что играет за тебя, а та, что держит на себе мир: солнце, которое идёт по своему кругу, птиц, которые вьются над стеной и кричат по-своему, деревья, которые шумят не по заказу, дождь, который начинается у тебя над головой и не идёт больше нигде. Никто толком не мог объяснить, как это сделано, и это незнание было частью её обаяния.

Одни говорили, что там можно прожить чужую жизнь. Другие — что можно наконец узнать цену своей. Третьи не говорили ничего и просто платили, отдавая последнее за месяц, за две недели, за неделю присутствия в чужом веке. А потом некоторые из них переставали платить и куда-то исчезали. Об этом не говорили, и Верещагин тогда не обратил на это внимания.

Программа росла в народе так, как растут слухи: тихо, снизу и без всякого разрешения.

Николай Андреевич Верещагин был тогда молод — двадцать семь лет, кандидат наук, доцент кафедры истории нового времени, — и в тот год ему казалось, что он знает о русско-японской войне всё.

Он защитился в двадцать пять, и диссертация его была о Куропаткине, о том самом Куропаткине, о котором в учебниках две строчки, а в архивах — полторы папки. Он просидел над ним три года, он знал его приказы наизусть, он мог по памяти восстановить расположение полков под Мукденом и объяснить, почему наступление захлебнулось. Он читал лекции студентам, которые записывали даты и не запоминали лиц, и он говорил им, что история состоит из дней, и что каждый день в полку длится так же долго, как и всякий другой, — с утра до вечера. Он сам в это верил. Почти.

Он не собирался играть. Это было важно: он был историк, а не участник, и ему казалось, что человек, который знает предмет по документам, не имеет права искать его в игре. Но студенты говорили о «Взгляде» на каждой перемене, и коллеги спорили о нём в курилке, и один раз, поздним вечером, когда он остался на кафедре один и ему нечего было делать, он открыл страницу.

Она нашлась сразу — так, как будто ждала. Страница была простая до неприличия: серый фон, шрифт без засечек, ни одной картинки, ни одного обещания. Только название, два поля и строка внизу, набранная мелко: «Прохождение не является развлечением».

Верещагин фыркнул. За годы на кафедре он насмотрелся на громкие слова и знал им цену.

Первое поле — «событие». Список был коротким, всего несколько пунктов, и он долго смотрел на первый, прежде чем выбрать «русско-японская война, 1904–1905», и нажать.

Второе поле — «кем вы хотите быть».

Он вписал: «Поручик. Сто двенадцатый пехотный полк».

Это было не случайно и не по расчёту. Он знал эти имена наизусть, он писал о них, он читал о них лекции. Он не собирался ничего менять в истории. Он собирался посмотреть.

Программа ответила не сразу. Минуты две на экране висела серая полоса, и Верещагин успел налить себе чаю и не выпить его.

Потом появился текст:

«Подключение бесплатное. Вам предоставляется одна сессия для оценки эффекта присутствия. Продолжение участия оплачивается по аренде персонажа. Персонаж и срок аренды будут указаны после подключения. Помните: время ваше, история — нет».

Ниже, отдельной строкой, стояла ещё одна фраза, набранная тем же мелким шрифтом, и он прочёл её рассеянно, как читают инструкцию к прибору, которым собираются пользоваться недолго: «Подключение производится через шлем виртуальной реальности. Убедитесь, что гарнитура надета и закреплена».

Верещагин сходил в прихожую, достал с верхней полки коробку — прошлогодний подарок от племянника, — вынул из неё шлем, стёр с него пыль рукавом и надел. Пластик был холодный, ремешок мал, стекло слегка отдавало чужой квартирой — каким-то чужим запахом, пыльным и сладковатым. Он поправил его обеими руками, как поправляют очки, и почувствовал, что не видит больше ни комнаты, ни стола, ни чашки.

Он хотел закрыть страницу. Пальцы не послушались, и он нажал «Начать».

Глава 4. «Поручик»

Сначала не было ничего — только резкий, травяной, чуть кисловатый запах, от которого сразу запершило в горле. Потом пришла земля под ногами: не ровная, а вытоптанная, с колеёй, с комьями, которые подавались под каблуком.

Верещагин стоял на обочине дороги и держал в руке повод.

Он не сразу понял, что это его рука. Она была моложе — это было заметно по коже на костяшках, по тому, как легко легла холка под ладонью. И она была в перчатке, засаленной на указательном пальце.

Вокруг стоял лес, низкий, осенний, с облетевшей листвой, и впереди, в просвете, виднелась белая стена, какие строят только в России — криво, наспех, на века. Над стеной шло небо, синее и высокое, и в нём, где-то очень далеко, шли птицы. Он проводил их взглядом и поймал себя на мысли, которая была бы смешна в любом другом месте: он не мог сказать, настоящие ли они.

Запах держался. Он был не один — за травяным шёл дым, за дымом лошадь, за лошадью что-то кислое, вроде мокрой шинели, и всё это вместе было так отчётливо, что Верещагин невольно потянул носом и остановился.

Шлем на голове, подумал он. Только шлем, кусок пластика и два стекла. Откуда запах?

Он читал когда-то, что мозг достраивает недостающее, если ему дать довольно поводов: покажи человеку воду — и он почувствует сырость. Но здесь никто ничего ему не подсказывал. Он не видел дыма, прежде чем его унюхал. Запах пришёл первым.

Значит, программа была устроена сложнее, чем он думал о ней за чаем. Значит, она тратилась не на картинку, а на всё, чем человек живёт: на воздух, на холод под рукавом, на горечь во рту. И то, что за этим стояло, было или очень умно, или очень внимательно к людям, и Верещагин не мог решить, что его пугает больше.

Он попробовал повернуть голову и повернул.

Тело слушалось, но не так, как своё. Оно слушалось, как хороший инструмент, к которому вы привыкаете: чуть тяжелее, чуть медленнее, но с готовностью, которой у вас самого давно нет.

Он был поручиком. Он был в теле поручика, и с ним были чужие мысли — не в голове, а где-то ближе к затылку, как шум соседней комнаты. Поручик думал о казённой квартире, о разбитом сапоге, о том, что завтра надо писать письмо.

Верещагин стоял и слушал эти мысли, и ему было страшно не от них, а от того, как легко он их слышит.

— Поручик.

Он обернулся. Сзади стоял солдат — молодой, белобрысый, с таким лицом, у которого нет отдельного лица, а есть общее для всех двадцати лет. Он держал повод второй лошади.

— Чего? — сказал Верещагин и чуть не поперхнулся: голос был не его, хрипловатый, с той установкой, с какой разговаривают с подчинёнными.

— На привал становимся. Ротный велел недолго.

Верещагин огляделся и оценил, как он это сделал быстро. Всего час назад он сидел дома, на обоях с полосами, а теперь вокруг него стояла осень тысяча девятьсот четвёртого года, пахло дымом и лошадьми, и солдаты, которых он знал только по именам, воткнутым в текст работы, раскладывали у дороги шинели.

Солнце двигалось. Он посмотрел на тень, которую бросала сосна, и увидел: она стала короче, чем была.

Он не помнил, как прошли эти два часа. Он помнил, как стоял с поводом, а потом — вот здесь.

Разговора не было, дороги не было, ничего не было, и он сам ничего не решал.

В груди поднялась тошнота, короткая, липкая — та самая, что бывает, когда проснёшься от падения и ещё не понимаешь, где находишься.

С ним что-то сделали. Его нет за эти два часа. Их пропустили, как пропускают пустые страницы.

— Поручик, — сказал солдат. — Дом вон стоит. Хороший дом.

— Вижу, — ответил Верещагин.

Он всю жизнь учил студентов, что история состоит из дней, и что каждый день в полку длится так же долго, как и всякий другой — с утра до вечера. Ему вдруг показалось до крайности смешным, что он писал это в статье и ставил сноски.

Он сел на землю, прямо в шинели, и положил повод рядом, на траву.

Глава 5. «Сжатие»

К вечеру он понял правило.

Оно не было записано ни в каких правилах — просто обнаружилось, как обнаруживается новое поведение в организме: ты замечаешь его, когда уже привык жить с ним. Сжималось то, чего не было. Всё, где он ничего не решал: езда, сон, часы ожидания, рубка дров — валилось в одно мгновение, и мгновение это он не переживал, а проскакивал, как поезд по мосту, где от стука колеса остаётся только ритм.

Сжималось много. Дорога в четыре часа оборачивалась минутой, ночь — ударом сердца, неделя гарнизонной скуки — страницей. Оттого игровое время и выходило вчетверо, а то и впятеро короче того, что он проводил у себя в комнате за шлемом: пока он жил своей жизнью, чужая, никому не нужная, стояла на месте и не тратилась.

В этом и был весь расчёт. Он понял его скоро и почти восхитился: сжатие давало человеку невозможное — пройти год войны не за год, а за два месяца, и при этом не пропустить ни одного разговора, ни одного лица, ни одного утра, в которое что-то решалось. Всё настоящее оставалось целым. Выбрасывалось только то, что и в жизни не запоминается: дорога, сон, ожидание.

Он проверил на второй день нарочно. Решил — и вправду повернул лошадь не туда, в лес, и ехал час, пока не понял, что заблудился. Этот час остался целиком. Каждое дерево, каждый корень под копытом.

Значит, решал он. Не программа. Решала его собственная растерянность, его страх, его выбор свернуть не туда. Всё, что не было выбором, программа выбрасывала. И это было самое неприятное из всего, что с ним случилось: не то, что сжимается время, а то, что он сам оказался поделённым на важное и неважное — и меру определял не он.

Вечером третьего дня он сидел у костра, держа в руках жестяную кружку, и рядом с ним, положив локти на колени, сидел тот самый белобрысый солдат.

Его звали по фамилии — Федюнин. Верещагин знал эту фамилию из списка потерь — просто из списка, строчкой, набранной петитом.

— Господин поручик, — сказал Федюнин. — А вы грамотный?

— Грамотный.

— А можете написать? Ну, письмо. Мать бы получила.

Верещагин посмотрел на него. Федюнин смотрел снизу, и в глазах у него не было ни настороженности, ни страха — только ожидание, которое есть у людей, когда они просят о чём-то очень маленьком и заранее готовы услышать отказ.

— Могу, — сказал Верещагин. — Давай завтра. Сейчас темно.

— Ага, — сказал Федюнин и всё равно не встал. — Завтра, значит.

Он сказал это так, как говорят люди, у которых нет уверенности, что завтра придёт.

Верещагин не спал всю ночь. Он сидел и слушал, как кто-то в темноте кашлял, и думал о том, что письмо надо было написать сейчас, немедленно, при свече, на обратной стороне чего угодно.

Но рука с кружкой не двигалась, а потом наступило утро, и он не запомнил его.

Глава 6. «Федюнин»

На пятый день пришло сражение.

Он не знал о нём заранее. Он проснулся от того, что вокруг ходили и кричали, и чужое тело уже стояло, надевало мундир, искать не пришлось: руки делали это без него, а в затылке шумели чужие мысли, отчётливые и быстрые, как команды на разводе.

Ирония была в том, что он готовился к этому всю жизнь. Он написал две книги, он знал расположение полков, он мог по карте объяснить, где встала артиллерия и куда ушли охотники, и он собирался теперь на всё это посмотреть.

Он смотрел.

Сначала это выглядело как беспорядок, и беспорядок был удивительно тихим: люди бежали, падали, кто-то кричал, но крик шёл мимо, как ветер. Потом он увидел, что стоит и ничего не делает, и что это длится уже давно.

Федюнин был неподалёку с винтовкой у плеча.

Верещагин знал, что будет через минуту. Он знал это из документов: место, время, фамилию из списка. Он даже помнил, что в донесении это описано двумя словами — «убит в перестрелке», и ещё помнил, как легко ему было это писать, потому что у тех, кто писал, никого из них не существовало.

Он успел сделать два шага.

И в тот же миг случилось то самое: короткое, мягкое, будто кто-то забрал у него паузу. Он стоял уже в другом месте, не помнил, как там оказался, перед ним лежали чужие тела, и одно из них было белобрысым.

Верещагин опустился на землю. Не потому, что решил опуститься, а потому что ноги перестали держать. Кто-то из солдат крикнул ему что-то, и он кивнул, не слыша.

Письмо так и не было написано.

Внутри что-то оборвалось иначе, чем оборвалось бы в жизни. Не только горе — а мысль, которая пришла следом: его не было. Он не прозевал, не испугался, не замешкался. Его отсутствовало. Программа сочла минуту незначительной, и минуты, в которой умирал Федюнин, просто не было. Её не было и уже не будет, никогда, ни в какой записи.

Он поднял голову.

Впереди, за полосой дыма, на пригорке, стоял человек в странной для этого места одежде и смотрел на него через развалины. Он был далеко — лица было не разобрать. Он поднял руку и помахал Верещагину, как машут знакомому на перроне.

Верещагин не ответил и не побежал. Он просто смотрел, и человек в конце концов ушёл, неторопливо, вниз по склону.

К вечеру он оказался в лазарете. Кто-то перевязывал ему голову, и он спрашивал, где его полк, и ему говорили, что всё в порядке.

Он не был ранен. Но у него осталась вмятина на плече — маленькая, розовая, свежая, какой никогда не было в его собственной жизни.

Глава 7. «Вмятина»

Он вышел из программы в понедельник, в половине седьмого утра, и сидел, не вставая, до тех пор, пока не стало светло.

За окном дворники уже скребли лопатами, и в этом звуке не было ничего исторического. На столе стояла чашка с чаем, налитым в воскресенье. На ладони "лежала" вмятина. Именно так он ее и ощущал -как что-то свое и чужое одновременно.

Шлем он снял только к вечеру, и ещё долго не мог понять, отчего в комнате так тихо.

Он провёл по вмятине пальцем и почувствовал, что руки дрожат — не сильно, но заметно, как у человека после бессонной ночи.

К десяти он поехал на кафедру.

Ветрова ждала его на третьем этаже у окна, прижав к груди папку, и когда увидела, сразу встала.

— Николай Андреевич. Я не знала, идти ли…

— Идите, — сказал он. — И слушайте внимательно, потому что повторять я не стану.

Он говорил с ней на площадке, не заходя в кабинет, потому что в кабинете было бы официально, а официально он не мог.

Он сказал: время сжимается. Он сказал: то, чего не было, пропадает. Он сказал: он не видел, как умер человек, которого знал по имени, и что хуже этого он не видел ничего.

Она слушала и кивала, и по мере того как он говорил, лицо у неё делалось всё более спокойным — а он смотрел и понимал, что она это уже знает. Знала раньше него. Прошла дальше него.

— Я вам должна сказать ещё одну вещь, — проговорила она наконец и оглянулась на дверь кафедры. — Платить придётся. Подключение бесплатное, чтобы попробовать, а дальше — аренда. Пока срок идёт, всё ваше. Кончится срок — персонажа отдадут другому, а место может уйти к кому угодно. И ещё: пока вы не в игре, он всё равно живёт. Действует по шаблону, как положено по событию. Идёт, обедает, отвечает на бумаги. Только без вас.

Верещагин стоял и думал о том, что у него на счету лежит зарплата доцента, взносы за квартиру и то, что осталось от гонорара за книгу, которую никто не купил.

— Сколько? — спросил он.

— Я не знаю, — сказала она честно. — Я не дошла до этого. У меня было только подключение.

— А если дорого?

— Тогда не начинайте, — сказала она просто. — Потому что не начать можно, а бросить нельзя.

Он вернулся к себе и до ночи просидел над программой, и к ночи узнал цену.

Сумма называлась такая, что её пришлось бы выплачивать, отказывая себе во всём, кроме хлеба, месяца три, а то и четыре, и всё это время персонаж стоял бы и ждал, а история его шла без него.

Верещагин откинулся на спинку стула и сказал вслух, в пустой комнате:

— Нет. Не по мне.

Это было почти приятно — сказать так и услышать собственный голос. Он закрыл программу и лёг спать и спал в ту ночь хорошо, как человек, отказавшийся от дорогой вещи и нашедший в отказе неожиданное достоинство.

Глава 8. «Аренда»

— Вы можете попробовать перепродажу, — сказала Ветрова на другой день. — Есть люди, которые держат места и потом уступают их. Как абонемент в клуб.

— Как абонемент, — повторил он.

— Простите.

— Вы тут ни при чём, — сказал он. — Идите на лекцию. Вы опоздаете.

Она ушла вниз.

Верещагин постоял у окна, потом достал телефон и открыл программу. Сверху, над серым полем, висела новая надпись: «Сессия завершена. Для продолжения требуется аренда».

А ниже, меньше, ещё одна: «Срок аренды определяется условиями события. Участник не может выйти до конца срока. Переуступка места возможна до начала следующего периода».

Он посмотрел на цифру, потом на остаток на карте, потом снова на цифру, и закрыл программу.

Всю неделю он жил как жил: две пары, зачётная ведомость, полтораста лет чужой жизни, которую он знал наизусть. Только теперь в этой жизни была дыра — минута, в которую умирал человек по фамилии Федюнин, и дыра эта не зарастала. Он говорил себе, что это не его дело, что он историк, а не участник, что у него мать, которой нужны лекарства, и что человек в его годы не закладывает квартиры ради прогулки в прошлое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.